

С пчелкой я росу впиваю,
В чаше буквиц отдыхаю;
Там я сплю под крики сов,
А в тиши ночных часов
На крылах летучей мыши
В теплом мраке мчусь все выше.

Уильям Шекспир, «Буря»¹

¹ Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник

Часть первая

БЕСЕДЫ О СОКРОВИЩАХ

1

Ранний день под щебет птиц, и крапивник с дудочкой на облаке, словно мальчик из стихов, бросай свою дудочку, счастливую дудочку. Там бобовые цветы распустились, горохово-зеленое буйство травы, рой насекомых вьется головокружительно высоко; ползучая кружевная шаль в вязаной накидке из роз; ах, краткие веселые часы насекомых, резвящихся на искалеченных былинках и на лице первого живого цветка; и я посадила семена моркови, а они так и не взошли, потому что ветер принес разрушительное заклятье; ветер теплый, был теплый, и дни наверху гремели незаметно, взрывая атомы белоснежно-черных бобовых цветков и кремowych роз, подтрунивая над последними инстинктивными «кто-тут, кто-тут» летнего дрозда; и мне сказали накрыть семена моркови тонким, как хлопок, слоем земли, но они провалились слишком глубоко или засохли, а мошка поселилась среди бобов, которые потом зацвели в полумночном бархате, и я подумала, что должна была знать, которая мысль та самая, перед уловкой судьбы; пышное лето, да, и все же какой прок в зеленой реке, в золотом

месте, если время и смерть пришили человека к карману моей земли и, не зная отдыха, уносят зеленые сплошные ивы и белую розу, и бобовые цветы, и утреннюю затуманную песню, рожденную в крапчатой грудке дрозда?

И вот огромный, страдающий несварением Санта-Клаус, у порога Рождества снежный курган, и его не растопят ни летний день, ни человеком сотворенное солнце, и он такой, кажется ровно таким, чтобы подходить по размеру; а теперь давайте купим рождественскую открытку и напишем некролог, на веревочке или липкой ленте; завернем нашу жизнь в целлофан, потом платок и открытка; купим гусеницу, которая уже завелась и ползет назад по нашим дням и ночам. Поет Дафна из мертвой комнаты.

2

Их бабушка-негритянка когда-то давным-давно была рабыней из южных штатов Америки, ходила в длинном черном платье, с пушистыми волосами и блестящей жирной кожей. Она часто пела о своей родине:

Унеси меня к старушке Вирджинни,
там хлопок, кукуруза и картошка растут,
там птички весной так сладко поют,
вот куда без конца мое старое сердце стремится.

И теперь, после смерти, она вернется в свою Вирджинни и будет гулять по хлопковым полям, и солнце будет блестеть в ее вьющихся волосах, похожих на шарик черного хлопка или распушившийся цветок чертополоха, в котором могли бы жить птицы, если бы хотели поселиться в черном мире.

Нет, ты должна съесть капусту, потому что на стене висят дурилагы, через которые можно давить капусту, чтобы вытекла зеленая вода; хотя, если у тебя диабет, нужно пить зеленую воду, иначе ты, не ровен час, как твоя бабушка, потеряешь обе ноги и заведешь новые, деревянные, и станешь держать их за дверью, в темноте, и у них не будет коленей и не будет пальцев, которыми можно шевелить.

Коленей?

Коленей?

Календарь?

Календари висят на стене, к ним пришпилены счета от бакалейщика, молочника и мясника; и как-то они ухитряются висеть там, собранные по дням и месяцам года, пронумерованные, словно каторжники, на случай побега.

Но они все равно сбегают, неизменно сбегают.

— Время летит, — сказала миссис Уизерс. — И это календарь, ничего общего с коленями, глупенькие вы детишки. Фрэнси, Тоби, Дафна, Цыпка, пейте свою капустную воду, иначе потеряете обе ноги, как ваша бабушка.

— **А** я не хочу в школу, — сказал Тоби. — Я хочу пойти на свалку и что-нибудь поискать.

Фрэнси, Тоби, Дафна и лишь иногда Цыпка, поскольку она была слишком мала и к тому же копуша, искали себе сокровища на свалке среди бумажек, стали, железа, ржавчины, старых ботинок и прочего хлама, который жители города выбрасывали, так как он больше не годился ни для использования, ни для продажи. Местность там напоминала раковину с зеленым пушком из травы и сорняков над кучами мусора. Дети уютно устраивались в канаве, иногда прогретой кострами, с помощью которых городской совет приближал кончину отверженных материальных благ, и они могли видеть небо, переходящее в голубую дымку или серую рябь, и слышать, как тяжелая пихта, склонившись над ложиной, качается на ветру и разговаривает сама с собой — пиххх-пххх, — будто пытаясь произнести свое имя, и роняет ржавые иголки, которые проскальзывают в желто-зеленую раковину и делают крошечные стежки на краях живой и обжитой раны, где ребята нашли свои первые, самые счастливые сказки.

И маленькую зеленую изъеденную книгу Эрнеста Доусона, который шептал наедине своей Кинаре: Пройшей ночью, ах, ночью, ее губы и мои.

Это про любовь, и понять могла только Фрэнси, которая *уже поспела*, как говорила шепотом в ванной их мать, а Дафне еще было невдомек, что это такое и как она сможет носить их незаметно, ведь люди станут толкать друг друга в бок, мол, погляди-ка.

— У тебя будет капать кровь, когда идешь, — сказала Фрэнси.

Не найдясь с ответом, Дафна сказала:

— Рапунцель, Рапунцель, распусти свои волосы, — цитируя принца, который поднимался по золотой шелковистой косе на вершину башни, так было написано в книжке, найденной среди мусора. От нее разило воню, черви все еще поедали желтые страницы, покрытые слоем пепла, и ее выбросили, потому что язык книги стал непонятным, а люди больше не могли ее прочесть и найти дорогу в ее мир. На обложке крупными буквами значилось «Братья Grimm». Там говорилось про Золушку и ее уродливых сестер с отрезанными пятками и пальцами ног, у них шла черная кровь, цвета белоснежного бобового бутона.

— Я не хочу в школу, — сказал Тоби. — Я хочу пойти на свалку и поискать другую книгу.

В тот день в школу должна была прийти медсестра. Она носила серый костюм, и, поскольку славилась своей суровостью, воображение детей смешало ее образ с серой акулой-нянькой, смертоносной, неслышно плывущей вслед за тобой, чтобы слопать в один укус; впрочем, акулы встречаются вроде бы только неподалеку от Сиднея.

В каждый визит медсестра осматривала грязнуль и шепталась с ними через картонную трубку. Тридцать два, пятьдесят пять, шестьдесят один, шептала она; а дети, коль уж попали в ряды осматриваемых грязнуль, должны были повторять: тридцать два, пятьдесят пять,

шестьдесят один; и если они повторяли правильно, это значило, что у них есть слух и можно не протыкать им уши. Тогда медсестра брала палочку, похожую на те, которыми едят мороженое, и очень-очень осторожно раздвигала пряди волос у ребенка, чтобы проверить, не обитает ли там кто-нибудь. Также она смотрела на одежду учеников, определяя, как часто ее стирают, потрепанные вещи или новые. А потом она ставила грязнуль перед бумажным квадратом и указывала на печатные буквы, чтобы дети называли этот перепутанный алфавит, и они должны были разглядеть мелкий шрифт, даже мельче, чем в среднем столбце Библии, где написаны «См. Рим., 1 Тим., Втор.» и другие загадочные слова.

Тоби все это терпеть не мог. Даже боялся. В докторской книжке, которую мать хранила на платяном шкафу, Тоби видел изображения многолапых существ, разгуливающих у человека в волосах, и как на лице появляются красные пятна, и искривленные ноги. Тоби сам был болезненным ребенком и каждый раз после еды принимал чайную ложку лекарства, залитого водой, пока его мать не узнала, что означает надпись на рецепте. И тогда...

— Бромид, — сказала она. — Наркотик.

Поэтому, когда им приносили пузырек с лекарством, а потом еще и еще один, мать Тоби говорила:

— Никто из моих детей, никто из моих детей не будет пить эту гадость.

Она ломала сургучную пломбу, срывала пробку и выливала густую оливковую жидкость.

Тоби лучше не становилось. Он ходил в школу, садился в последнем ряду и, склонив голову набок, силился понять, что написано на доске и что учитель Энди Рид объясняет на уроке истории.

Были войны с маори, и белые люди захватили участок земли, — а насколько большой участок, задумался Тоби. Они строили дома на участке и по утрам обходили границы участка, касаясь каждой второй изгороди и срывая каждый третий цветок бархатцев. Но, говорят, раньше на этом участке земли стоял лес каури, и только буря могла облететь его за минуту, вырвав каждое второе и третье дерево, как волосинки.

— Тогда правительство было хорошее, — говорил Энди.

А иногда он говорил, что правительство было плохое.

А еще он говорил о войне и мире, которые никогда не случались в одно и то же время. Было, допустим, шесть мирных лет, когда маори и белые люди проводили дни и ночи напролет, улыбаясь друг другу, и терлись носами, и обменивались нефритом, клубнями кумары и каури, и женились, и ходили на пикники, и кипятили воду, и пили чай, и ели рыбу, и смеялись, и никто никогда не сердился.

Пока шесть лет не заканчивались. В канун Нового года белые и смуглые люди, вероятно, стояли на пороге Нового года, так же как стоят в очереди у кинотеатра или у площадки для крикета, ожидая начала фильма или игры; и матери предупреждали детей: помните, вам нельзя смеяться и что-либо обменивать. Шесть лет мы будем убивать. Это Война.

Тоби не мог представить годы войны, но Энди Рид всем их описал, а Энди Рид знал все. Еще он говорил, что была Столетняя война, когда люди, наверное, рождались с сердитыми лицами и умирали с сердитыми лицами, и ни единой улыбки не появлялось в промежутке.

В общем, историю — со всеми этими королями, хо-рошими и плохими, в париках и белых обтягивающих

штанах для танца менуэт — понять непросто; а еще были два принца, которые сидели в ужасной башне и слушали, как вода капает из подземной пещеры им на лица, на шеи и на головы, торчащие из прекрасных пышных воротников, словно цветочные бутоны. Тоби их, конечно, жалел, но никак не мог понять историю, не мог понять, зачем кому-то все время нужно больше земли и золота; а иногда он не мог понять, что говорит учитель, и не мог прочитать слова на доске. Именно поэтому он и не хотел идти в школу в тот день, когда приходила медсестра.

Тоби часто болел и пропускал занятия. Когда он болел, его рука дрожала, будто ей холодно, и Бог или Иисус набрасывали ему на голову темную мантию. Он боролся с этой мантией, пытался раздвинуть бархатные складки, размахивая руками и ногами в воздухе, пока солнце не сжаливалось над ним и не спускало ему ослепительного светоносного журавля, который забирал, но, увы, всегда сохранял где-то на небе, как думал Тоби, эту мантию удушливого навязчивого сна. И он открывал глаза и видел рядом свою мать, ее большой живот и разводы из муки и воды, напоминающие карту, на ее фартуке из мешковины.

И тогда он плакал.

Бархатная мантия возвращалась снова и снова, поэтому всякий раз, когда у Тоби дергалась рука или нога, мать бросалась к нему и спрашивала:

— Тоби, как ты?

Или Энди Рид в школе говорил:

— Тебе лучше полежать, Тоби Уизерс. Тогда, быть может, получится это остановить.

— Это?

Неужели Энди Рид понял, что произошло и как появилась мантия с частоколом из складок? Знал ли